
ЕВА ЗИМИНА
Развод и оранжерея дракона

Ева Зимина

Развод и оранжерея дракона

«Автор»
2026

Зимина Е.

Развод и оранжерея дракона / Е. Зимина — «Автор», 2026

Самостоятельная история в мире «Тёплого берега».В сорок два я получила развод, три горшка и совет отдохнуть. При поверенном бывший муж сказал, что в саду я двадцать два года отдыхала. А лимон, который держит пять градусов мороза и который вывела я, в реестре записан на него.Я отрезала косу и сняла на зиму пустую оранжерею у самого нелюдимого дракона долины. Орен Вальд три года не входит в камелиевый угол покойной жены, весной продаст участок под виноградник и честно предупреждает: только котёл, уголь и аренда до цветеня.Но в ночь великого мороза лопается котёл, бывший муж просит дочь при всех назвать меня помощницей, а тёплый дракон, который двадцать два года грел только одну женщину, впервые спрашивает: «Можно?»Мне нужно доказать, что я не помощница. И решить, что я готова записать на своё имя.

© Зимина Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Три горшка 5
Глава 2. Котёл с норовом 13
Глава 3. Голова в реестр не идёт 18
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Ева Зимина
Развод и оранжерея дракона

Глава 1. Три горшка

— Горшки забирай, — сказал Арс. — В саду ты всё равно отдыхала.

Он сказал это не со зла. Это было самое обидное. Он сидел напротив меня за длинным столом поверенного, в своём лучшем кафтане, с бумагами, разложенными веером, и говорил так, как говорят о погоде или о ценах на навоз, — спокойно, рассудительно, даже немного заботливо. Двадцать два года он говорил со мной именно так. Я двадцать два года думала, что это и есть забота.

Поверенный, сухой старичок в очках по фамилии Пряхин, кашлянул и перевернул страницу.

— Итак, — сказал он, — по описи. Дом в Верхних Садах с подворьем — остаётся за господином Кравцом, госпоже Кравец полагается половина стоимости, выплатой в течение трёх лет. Питомник «Сады Кравца» с теплицами, маточником, складом и вывеской — за господином Кравцом как за держателем, записанным в Садовом обществе. Скот, телега, лошадь — за господином Кравцом. Мебель — по отдельной описи. Посуда — пополам. Личные вещи — каждому свои. — Он посмотрел на меня поверх очков. — Госпожа Кравец, у вас есть что добавить к личным вещам?

Я смотрела в окно. Окно выходило на улицу Верхних Садов, на тот её поворот, где стоит старая груша, которую мы с Арсом прививали в первый год, как поженились. Тогда она была дичок, кривой, никому не нужный, у самой дороги. Мы привили на неё бергамот. Сейчас она стояла голая, по-листопадному, и на ней ещё висели три-четыре сморщенные груши, до которых не дотянулись мальчишки. Привой принялся. Двадцать два года назад принялся и с тех пор плодоносит каждую вторую осень. Я подумала, что про неё в описи ничего нет: она растёт на улице, ничья.

— Да, — сказала я. — Мои тетради. Двенадцать штук. Рабочие. В коробке на складе, на верхней полке.

— Тетради? — Арс поднял брови. — Ну, бери. Кому они нужны.

— И три горшка, — сказала я. — Лимон из угла у окна. Мандарин с подоконника в конторе. И камелия, та, что на складе, в красной кадке.

— Я же говорю — горшки забирай, — сказал Арс и посмотрел на поверенного. — Видите? Я не жадный. Пусть берёт что хочет. Цветочки.

Пряхин записал. Арс откинулся на спинку стула с видом человека, который только что проявил великодушие. Я посмотрела на него.

Лимон в углу у окна был не цветочек. Это было материнское дерево «Сиверного» — первого лимона на этом берегу, который держал пять градусов мороза и не терял листа. Двадцать один год назад я высеяла его из косточки, первой из сотни, — сотня сгнила или вымерзла, а эта взошла, — и с тех пор с него резали черенки для всего питомника. Все «Сиверные» от Верхних Садов до Сосновки были его детьми. Мандарин на подоконнике был материнским деревом «Медовой звезды». Камелия в красной кадке — «Зимнего пожара», единственной камелии на побережье, которая цвела в студне, когда всё вокруг спит. В реестре Садового общества все три сорта были записаны на питомник «Сады Кравца». На Арса. Потому что так было удобнее: держатель питомника один, подпись одна, печать одна. Мне так тоже было удобнее. Двадцать лет.

Арс этого не знал. То есть он знал, конечно, что эти три горшка — матери. Он просто не думал, что это что-то значит. В питомнике было ещё по сорок маточных деревьев каждого сорта, молодых, сильных, плодоносящих. Зачем ему старые.

Я ничего не сказала. Пряхин записал: «Три горшка с растениями, по выбору госпожи Кравец». И подвинул мне бумагу.

Я подписала. Своим новым-старым именем — Веста Лугова. Девичьим. Пряхин сказал, что так можно, если в бумаге о разводе указано, а в бумаге указано. Арс посмотрел на подпись и чуть поморщился. Он двадцать два года подписывал за меня всё, кроме писем моей матери.

— Ну вот, — сказал он и встал. — Ну вот и всё, Веся. По-хорошему. Без крика.

— По-хорошему, — сказала я.

— Куда ты теперь? К матери?

— Не знаю, — сказала я. Это была правда.

— К матери, — решил Арс. — Конечно. Отдохнёшь. Ты устала. Потом, может, тебе в городе место найдут, в лавке какой. Ты ж в цветах понимаешь. — Он надел шапку. — Мила к тебе будет ездить. Я не против. Пусть ездит.

— Миле двадцать лет, — сказала я. — Она будет ездить, куда захочет.

Он посмотрел на меня так, будто я сказала что-то не по делу, пожал плечами и вышел. Я слышала, как он во дворе крикнул работнику подавать лошадь, — громко, весело, как кричат после удачной сделки.

Пряхин собирал бумаги в папку. Я сидела.

— Госпожа Лугова, — сказал он, не поднимая глаз. — Позвольте старику один вопрос. Не по делу.

— Да.

— Вы правда отдыхали в саду?

Я посмотрела на него. Он смотрел в папку, но уши у него покраснели.

— Я двадцать лет вставала в четыре утра, — сказала я. — Летом — в три. Прививала, пикировала, скрещивала, вела тетради, учила работников, принимала покупателей, когда он был в городе. Я вывела три сорта, которые у вас в реестре записаны на него. — Я встала. — Нет, господин Пряхин. Я не отдыхала.

Пряхин закрыл папку.

— Я так и думал, — сказал он. — Моя покойная жена тоже не отдыхала. Я это понял, когда её не стало. — Он наконец поднял глаза. — Если вам понадобится поверенный, госпожа Лугова, — по любому делу. Я дорого не беру.

Я поблагодарила и вышла.

На складе питомника Арсов работник, молодой Тихон, помог мне вынести горшки. Лимон в деревянной кадке, по пояс мне, с тёмными глянцевыми листьями и тремя зелёными плодами, которые созреют к цветеню. Мандарин в глиняном горшке, пониже, весь в мелких жёлтых звёздах — он как раз начинал цвести, в листопаде, как всегда, назло всем. И камелию в красной кадке, высокую, мне до плеча, с тугими круглыми бутонами, — бутоны ещё не раскрылись, но я знала, что раскроются к середине студня. Красные. Как огонь в печи. Тихон погрузил их на мою телегу — мою, ту, что я наняла в Губе на сегодняшний день, со старым возницей, — и укутал мешковиной от ветра.

Последней я вынесла коробку с тетрадями. Сама. Тихон хотел взять, я не дала.

На телеге я открыла коробку и пересчитала. Двенадцать тетрадей должно было быть. Двадцать лет работы, по году и больше в каждой, — первая, тонкая, в синей обложке, с первыми скрещиваниями, когда мы только купили этот участок, а последняя, толстая, кожаная, — прошлогодняя. Я перебрала их. Синей не было. И второй, серой. И третьей, с пятном от чернил на обложке. Девять. Последние девять. Первые три — с самого начала, с тех лет, когда я высеяла ту сотню косточек и записывала каждую, — пропали.

Я вспомнила. Пятнадцать лет назад, когда питомник переезжал с нижнего участка на нынешний, сгорел старый сарай, где хранились ящики с бумагами. Я тогда плакала над ним полдня. Арс сказал: «Ну и что, у тебя всё в голове». В голове — да. А в реестре Общества, если кто когда-нибудь спросит, кто вывел «Сиверный», нужна будет первая запись. С датой. С почерком.

Я закрыла коробку и села на неё сверху. Возница тронул.

Мы ехали из Верхних Садов вниз, к морю, по старой дороге между садами. Было серо, тихо, сыро — обычный листопадный день на нашем берегу: не холодно, не тепло, просто влажно, и пахнет прелым листом, мокрой землёй и солью. Слева по склону шли виноградники, голые, с подвязанными лозами, справа — сады, и я по привычке смотрела на них и замечала: у Петровых персики подмёрзли в прошлую зиму и до сих пор не отошли, вон серые ветки. У старого Ганса яблони обрезаны слишком коротко, весной будут волчки. У вдовы Норы смородина укрыта лапником, умница. Я двадцать лет ездила этой дорогой и каждый раз замечала всё это, и каждый раз думала: надо Арсу сказать. Потом не говорила. Арс не любил, когда я замечала за других.

Теперь можно было замечать сколько угодно. Некому было не говорить.

— Куда, хозяйка? — спросил возница, когда внизу показались крыши Тёплой Губы. — К матушке, говорили?

— К матушке, — сказала я.

Мать живёт на Рыбной улице, в маленьком доме с палисадником, где у неё растут розы, которые я ей привила ещё девчонкой. Она открыла дверь, посмотрела на меня, на телегу, на горшки, на коробку — и не сказала ни слова. Просто посторонилась и пропустила. Мне сорок два года, я двадцать два года была замужем, у меня взрослая дочь, — а мать посторонилась и пропустила меня так же, как пропускала в двенадцать, когда я приходила домой с разбитыми коленками.

Горшки поставили в сени. Лимону там было темно, мандарину — холодно, камелия упёрлась верхушкой в потолок. Я смотрела на них и понимала, что долго они здесь не простоят. Им нужен свет. Тепло. Влажный воздух. Им нужна теплица, а у матери даже подоконников подходящих не было.

— Поживёшь, — сказала мать за ужином. — Отдохнёшь.

— Мама, — сказала я. — Не говори «отдохнёшь».

Она посмотрела на меня. Потом кивнула, будто что-то поняла.

— Тогда поработаешь, — сказала она. — Только у меня негде.

— Знаю, — сказала я.

После ужина я сделала то, о чём думала всю дорогу из Верхних Садов. Взяла ножницы — большие, портновские, мать ими кроит, — встала у зеркала в сенях, рядом с моими горшками, и отрезала косу.

Косу я носила с шестнадцати лет. Тяжёлую, тёмно-русую, до пояса, — последние лет пять с сединой, но всё ещё густую. Арс её любил. Говорил: «У моей Веси коса как у девки». Я её заплетала каждое утро в четыре, перед работой, и расплетала каждую ночь, и она мешала мне всю жизнь: путалась в ветках, падала в рассаду, лезла в глаза, когда я наклонялась над прививкой. Я никогда её не резала, потому что Арс любил.

Ножницы шли туго. Я резала долго, в несколько приёмов, — коса была толстая, — и, когда последняя прядь подалась, коса упала на пол, к ногам, тяжело, как отрезанная ветка. Я посмотрела в зеркало. Женщина в зеркале была стриженая, неровно, до плеч, с седыми прядями у висков, с морщинками у глаз от солнца, с упрямым подбородком. Незнакомая. Мне она понравилась.

Мать вышла в сени, увидела косу на полу и ахнула.

— Веста!

— Это обрезка, мама, — сказала я. — Весной все обрезают. Чтобы новые побеги пошли.

Мать подняла косу, подержала, покачала головой. Потом унесла её в комнату — я потом узнала: положила в сундук, в тряпицу, рядом с моими детскими лентами. Мать ничего не выбрасывает. Это у неё такое правило.

Наутро я пошла на почту.

Не потому, что ждала писем. Почта в Тёплой Губе — это не только письма. Это ещё большая доска у входа, на которую весь город вешает объявления: продаю, сдаю, ищу, потерялась коза. Я хотела найти работу. В лавке, как сказал Арс, — может быть. Или у кого-нибудь в саду, подённо. Или угол, где можно поставить три горшка.

Доска была увешана в три слоя. Я стояла и читала, отодвигая одни листки, чтобы прочесть те, что под ними. «Продаю бочки из-под сельди, недорого». «Требуется подавальщица в чайную на Набережной, спросить хозяйку, строгая». «Ищу попутчика до Сосновки». «Пропала собака, рыжая, на кличку не отзывается». Я отодвинула собаку.

Под собакой был листок, который висел, видно, давно: края загнулись, чернила выцвели от сырости. Почерк крупный, неровный, будто писали неохотно.

«Сдаётся на зиму оранжерея Вальдов в Нижней долине, по береговой дороге, две версты от города. С котельной. Под цитрусы, камелии, что угодно. До весны. Спросить хозяина. О. Вальд».

Я перечитала дважды.

Оранжерею Вальдов я знала. Её на нашем берегу знали все садоводы. Когда-то — лет двадцать, пятнадцать назад — это было лучшее стеклянное хозяйство от Губы до Сосновки: пальмовый зал, лимонная галерея, камелии, которые возили на выставки в столицу. Держали её дракон Вальд и его жена-садовница, Ингрид. Я её видела пару раз на весенних выставках Общества — высокая, светлая, громкая, с руками в земле по локоть и с медалями на груди. Потом говорили, что Ингрид умерла, — года три назад. Потом говорили, что оранжерею закрыли. Потом перестали говорить.

Я сняла листок с доски, сложила и сунула в карман.

Мать, когда я вернулась, посмотрела на меня и спросила:

— Нашла что?

— Не знаю, — сказала я. — Может быть.

— Где?

— В Нижней долине. Оранжерея Вальдов.

Мать поставила чайник.

— У Вальда? — переспросила она. — У того, что дракон? Говорят, он нелюдимый стал. Как жена померла. Никого к себе не пускает. Говорят, он и сам в ту оранжерею не заходит.

— Тогда зачем сдаёт?

Мать пожала плечами.

— Деньги, наверное, нужны. — Она посмотрела на меня. — Веста. У тебя денег нет. Арс тебе ещё три года будет выплачивать, понемножку. Как ты оранжерею возьмёшь? Её топить надо. Это ж не сарай.

— Знаю, мама.

— И одна. Женщина. Разведённая. На зиму. У дракона, которого все сторонятся.

— Знаю.

— Тётка Паша говорит…

— Мама, — сказала я. — Я двадцать два года слушала, что говорят. Что говорит Арс, что говорит его мать, что говорят покупатели, что говорят в Обществе. Двадцать два года я слушала и делала, как говорят, и вот я здесь, в сорок два, у тебя в сенях, с тремя горшками и стриженая. — Я помолчала. — Я схожу посмотрю. Просто посмотрю.

Мать долго молчала. Потом налила мне чаю.

— Сходи, — сказала она. — Только шаль возьми. С моря дует.

Нижняя долина начинается сразу за городом, за рыбачьими сараями, и тянется вдоль моря на восток, между береговой дорогой и холмами. Здесь на нашем берегу теплее всего: холмы закрывают от северного ветра, море греет снизу, солнце бьёт в склон весь день. Здесь растут персики, абрикосы, поздний виноград, а в хороших местах — даже инжир, под стенами. Здесь всегда, даже в студне, пахнет сырой землёй. Я шла по береговой дороге пешком, в материной шали, и смотрела по сторонам, и замечала: у винодела Росса лозы укрыты на зиму соломой — правильно, — а у его соседа нет, весной будут слёзы. Я шла и думала, что сейчас приду, посмотрю, поговорю с нелюдимым драконом, получу от ворот поворот и пойду обратно к матери. И это будет правильно. Потому что мать права: денег у меня нет, а оранжерею топить надо.

Оранжерею я увидела издали.

Она стояла на террасе над морем, на каменном цоколе, — длинная, в сорок саженей, стеклянная, с полукруглой крышей, похожая на огромную перевёрнутую лодку, сделанную из света. Только света в ней не было. Стёкла были мутные, серые от трёхлетней грязи и соли, а местами — выбитые, и дыры закрыты досками. Сквозь мутное стекло угадывались внутри тёмные силуэты: кадки, стволы, засохшие пальмовые листья, свисающие вниз, как сломанные крылья. Рядом с оранжереей, чуть выше по склону, — дом, каменный, двухэтажный, с плющом по стене. Плющ разросся без присмотра и закрыл половину окон. Из трубы дома шёл дым. Из трубы котельной — нет.

У ворот, на скамейке, сидела старуха в тёплом платке и чистила картошку в ведро.

— Ищете кого? — спросила она, не вставая.

— Хозяина, — сказала я. — Насчёт оранжереи. По объявлению.

Старуха перестала чистить и посмотрела на меня внимательно. У неё было тёмное, будто дублёное, лицо, светлые глаза в морщинках и руки — я сразу увидела — садовницы: короткие ногти, земля в трещинах кожи, которая не отмывается никогда.

— По объявлению, — повторила она. — Оно ж с середины жатвеня висит. Я думала, его уж и не видит никто.

— Я увидела, — сказала я.

Старуха отложила нож.

— Сада, — сказала она. — Я тут садовница. Была. Теперь сторожу. — Она встала, вытерла руки о передник. — Хозяин в доме. Сейчас позову. Только вы… — Она помолчала, разглядывая меня. — Вы садовод?

— Садовод, — сказала я. — Веста Лугова. Была Кравец. Из Верхних Садов.

Сада прищурилась.

— Кравец, — сказала она. — «Сады Кравца». «Сиверный» лимон.

— Да.

Она смотрела на меня ещё долго, и что-то в её лице менялось — медленно, как меняется небо перед рассветом. Потом она сказала:

— Подождите тут.

И ушла в дом.

Я ждала у ворот. Смотрела на оранжерею. Вблизи она была ещё печальнее: на цоколе — мох, двери перекошены, у входа — сугроб из сухих листьев, нанесённых ветром за три осени. Но я смотрела на неё и видела не это. Я видела, как падает в неё свет — с юга, с моря, весь день. Видела высоту крыши — там можно было поставить лимоны в рост, деревьями, а не кустами. Видела трубу котельной — значит, котёл есть, и, может быть, ещё живой. Я стояла и смотрела, и у меня в голове, как всегда, само собой начало раскладываться: здесь — лимоны, здесь — рассада, здесь — сеянцы, здесь — камелия, если не замёрзнет. Это было как у человека, который двадцать лет пел в хоре, а потом его выгнали, и он идёт по улице и сам не замечает, что поёт.

— Вы по объявлению?

Я обернулась.

Он стоял в воротах, большой, сутулый, в старой суконной куртке, накинутой на плечи, и смотрел на меня сверху вниз — не потому, что хотел, а потому, что был выше меня на полторы головы. Рыжевато-седая борода, коротко стриженная. Волосы — того же цвета, давно не стриженные, падали на лоб. Глаза — светло-карие, тёплые, усталые, с красными веками, как у человека, который плохо спит. Руки — большие, с длинными пальцами, — он держал перед собой, сцепив, будто не знал, куда их деть. Я подумала, что он похож на старый дуб, у которого отломилась главная ветка, а он всё стоит.

— По объявлению, — сказала я. — Веста Лугова. Садовод.

— Орен Вальд, — сказал он. Голос был низкий, глуховатый. — Сада сказала, вы — «Сиверный».

— Я его вывела, — сказала я.

Я сказала это вслух. Первый раз в жизни — вслух, чужому человеку, без «мы», без «питомник», без «Арс». Слова вышли легко и тяжело одновременно, как выходит из земли репа, которая сидела там слишком долго.

Он посмотрел на меня. Внимательно. Потом спросил то, чего я не ждала:

— Сколько градусов он держит?

— Пять. С листом. Шесть — если ночь короткая и днём солнце. При семи теряет лист, но корень живой.

— А сеянцы от него?

— Сеянцы — не держат. Расщепляются. Держит только черенкованный. Я пробовала триста сеянцев, восемь держали четыре градуса, один — пять. Это был «Сиверный». Остальные — нет.

Он молчал. Потом сказал:

— Ингрид пробовала двести. У неё ни один не держал больше трёх.

Я не знала, что ответить. Я не знала, можно ли при нём говорить её имя.

— Оранжерея, — сказал он, будто вспомнив, зачем вышел. — Там плохо. Три года не топлена. Половина пальм погибла. Стёкла — сами видите. Трубы в окалине. Котёл живой, но течёт. Топить надо углём — дровами не натопите. Уголь — ваш. Это дорого. Зима долгая. — Он помолчал. — Я сдаю, потому что… потому что надо. Но я вас не обманываю. Там плохо.

— Можно посмотреть? — спросила я.

Он помедлил. Я видела, как он борется с чем-то — коротко, внутри, — как борется человек, которого просят открыть дверь, за которую он давно не заходил.

— Сада покажет, — сказал он. — Я… не захожу.

Сада показала.

Внутри было хуже, чем снаружи. И лучше, чем я думала.

Хуже — потому что пальмовый зал, первый, у входа, был мёртв. Пальмы стояли в огромных кадках, высокие, до самой крыши, и все — коричневые, сухие, с поникшими листьями, шуршащими, когда мы проходили. Пол был засыпан сухой листвой. Пахло пылью, гнилью и мышами. Стёкла над головой были такие грязные, что свет шёл серый, как сквозь мешковину.

Лучше — потому что дальше, в лимонной галерее, кое-что было живо.

Я увидела это сразу. Лимоны стояли рядами, в кадках, — штук сорок, — и большинство засохло, но не все. У пяти — нет, у семи — на ветках ещё держались листья, жёлтые, больные, скрученные, но живые. Я подошла к одному, отогнула кору ногтем на молодой ветке — под корой было зелёное. Живое. Корни, значит, держали. Три года без ухода, без полива, без тепла, — а корни держали.

— Сада, — сказала я. — Вы их поливали?

Сада стояла у входа в галерею и не смотрела на меня.

— Поливала, — сказала она. — Раз в неделю. Тайком. Он не знает. Он сказал: пусть всё засохнет. А я не могла. Я их сама сажала. С ней.

Дальше, за лимонной галереей, была ещё одна дверь — стеклянная, закрытая, с медной ручкой. Сквозь стекло я увидела высокие тёмные кусты с глянцевыми листьями. Камелии. Живые. Совсем живые, тёмно-зелёные, с бутонами.

— А там? — спросила я.

— Там камелии, — сказала Сада. — Её угол. Туда не ходим. Он не велел.

Я постояла у стеклянной двери. Камелии стояли за ней, как в витрине, — живые, крепкие, с бутонами, без всякого ухода, без тепла, — будто ждали. Я подумала, что камелии вообще долго ждут. Они такие.

Мы вышли. Он стоял у ворот там же, где я его оставила, и смотрел на море.

— Ну? — спросил он, не оборачиваясь.

— Беру, — сказала я.

Он обернулся.

— Вы видели?

— Видела. Пальмы мёртвые. Лимоны — семь живых из сорока. Камелии — живые, но туда вы не пускаете. Стёкла, трубы, котёл. Видела. — Я помолчала. — Сколько?

— Три серебрушки в месяц. Уголь ваш. До первого цветеня. — Он помолчал. — Весной я, наверное, продам участок. Сосед давно хочет. Под виноградник. Так что больше чем до цветеня — не могу.

— До цветеня мне и надо, — сказала я. — Мне надо пережить зиму. Мне и моим трём горшкам.

— Трём горшкам?

— «Сиверный». «Медовая звезда». «Зимний пожар». Материнские деревья. — Я подняла глаза. — Мне больше некуда их поставить.

Он смотрел на меня долго. Я не знала, о чём он думал. Лицо у него было неподвижное, будто у того, кто давно разучился показывать, что думает. Только руки — он расцепил их и снова сцепил.

— Камелиевый угол, — сказал он. — Его не трогать.

— Не трону, — сказала я. — Если вы не попросите.

— Не попрошу.

— Тогда не трону.

Он кивнул. Медленно, будто кивать ему тоже было трудно.

— Сада принесёт бумагу, — сказал он. — Подпишем.

Мы подписали в тот же день, на крыльце дома, на старом садовом столе, — он, я и Сада свидетелем. Три серебрушки в месяц. Уголь — арендатора. Камелиевый угол — не трогать. До первого цветеня. Я отдала ему за первый месяц всё, что у меня было: три серебрушки и сорок медяков — сорок оставила себе на телегу для горшков.

Он взял деньги и не стал пересчитывать. Убрал в карман куртки. Потом сказал, глядя не на меня, а на оранжерею:

— Когда будете топить в первый раз — позовите. Котёл с норовом. Я покажу.

— Позову, — сказала я.

Обратно в город я шла по береговой дороге и думала, что мать будет ругаться. Что денег у меня — сорок медяков. Что угля нет ни мешка, и купить не на что, и Арс заплатит первую выплату только к солнцевороту. Что я сняла на зиму мёртвую оранжерею у дракона, который в неё не заходит, и что всё это — безумие.

И ещё я думала про семь лимонов, у которых под корой было зелёное. Про камелии за стеклянной дверью, с бутонами. Про свет, который падает в эту оранжерею с юга, с моря, весь день.

У поворота на Рыбную улицу я поймала себя на том, что иду быстро. Почти бегу. Как бегала девчонкой из школы домой, когда знала, что дома меня ждёт новый росток в горшке на подоконнике.

Мне было сорок два года. Я была разведённая, стриженая и без денег. И мне впервые за много лет было интересно, что будет завтра.

Глава 2. Котёл с норовом

Уголь мне дала мать.

Не сам уголь — деньги. Три серебрушки, завёрнутые в носовой платок с вышитой незабудкой, которые она достала из-за зеркала в своей комнате, где у неё с молодости лежит «на чёрный день». Я сказала, что не возьму. Мать сказала, что чёрный день — это не когда тебе плохо, а когда тебе надо, и что мне надо, и что если я не возьму, она сама пойдёт к угольщику и велит привезти воз к оранжерее, и пусть мне будет стыдно перед драконом. Я взяла. Вечером записала в чистую тетрадь, первую в новой жизни, на первой странице: «Мама — 3 серебр. Вернуть к цветеню». И подчеркнула дважды.

Воз угля пришёл в оранжерею на третий день, к обеду. Чёрный, блестящий, морской — его возят из-за пролива на баржах, и пахнет он солью и смолой. Угольщик свалил его у котельной в деревянный ларь и уехал, а я стояла над ним и смотрела, как на сокровище. Полвоза — на неделю, сказал вчера Вальд. Значит, две недели. Значит, к концу листопада мне нужен будет ещё воз, а денег на ещё воз у меня нет.

Я решила об этом подумать завтра.

Котельная стояла с северной стороны оранжереи, под одной с ней крышей, — низкая каменная пристройка, полуподземная, с узкими окнами под самым потолком. Внутри было темно, сыро и пахло ржавчиной. Посредине стоял котёл — огромный, чугунный, круглый, как пузатый самовар великана, с дверцей топки, с манометром, со стрелкой, застывшей на нуле. От котла в стену уходили трубы — медные, толстые, позеленевшие, — и дальше, под пол оранжереи, где они шли вдоль всех сорока саженей, от пальмового зала до камелиевого угла, отдавая тепло земле и воздуху. Я видела такие котлы в столичных оранжереях на картинках. В Верхних Садах у нас были печи — по одной в каждой теплице, дровяные, простые. Котла я не топила никогда.

Над котельной, по узкой лестнице, была каморка. Маленькая, в одно окно, — окно выходило прямо в лимонную галерею, сквозь стеклянную стену. В каморке стояли узкая кровать, стол, табурет и железная печурка, и на стене висела выцветшая картинка: лимонное дерево в цвету. Сада сказала, что это была каморка садовника — того, кто следит за котлом ночью, — и что последние двадцать лет тут никто не жил: Вальды ночью ходили к котлу сами, из дома. Каморка была в договоре. «С котельной и помещениями при ней». Я прочла договор ещё раз, внимательно, и решила, что каморка — помещение при котельной.

Вечером на третий день я перевезла к оранжерее свои горшки.

Везла на соседской телеге, с соседским сыном, который правил и всю дорогу рассказывал, как его дядя видел в Нижней долине дракона, — огромного, бурого, с зелёным гребнем, — который летал над морем ночью, давно, лет пять назад, и как дядя потом три дня не мог спать. Я слушала и кивала. У ворот оранжереи соседский сын замолчал и посмотрел на дом с плющом, на тёмные окна, на трубу.

— Тут, что ли? — спросил он шёпотом.

— Тут, — сказала я.

Он помог мне выгрузить горшки, поставил их у входа в лимонную галерею и уехал так быстро, что я не успела сказать «спасибо».

Вальд вышел из дома, когда стемнело. Я как раз стояла у котла с фонарём в руке и думала, с какой стороны к нему подступиться. Я услышала его шаги на лестнице — тяжёлые, медленные, — и обернулась. Он стоял на нижней ступени, в той же суконной куртке, и смотрел на котёл. Не на меня. На котёл.

— Вы позвали, — сказал он. — Сада сказала.

— Позвала, — сказала я. — Я не знаю, как к нему подступиться.

Он спустился. Подошёл к котлу. Положил ладонь на чугунный бок — так, как кладут руку на шею старой лошади, которую давно не видели. Постоял.

— Три года, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Потом повернулся ко мне. — Сначала — вода. Котёл пустой, его надо наполнить, иначе лопнет, как только разгорится. Вот кран. Вот уровень. — Он показал на стеклянную трубку сбоку, с отметками. — До этой черты. Не выше. Потом — тяга. Вот заслонка. Её открыть до конца, пока не разгорится. Потом прикрыть наполовину. Потом — растопка. Сначала щепа, потом дрова, потом, когда дрова прогорят до углей, — уголь. Не раньше. Если уголь сразу — задушите.

Он говорил ровно, глухо, коротко, как говорят люди, которые давно не говорили и отвыкли от длинных слов. Я слушала и запоминала. Он открыл кран, и в котле зашумела вода — сначала тонко, потом гуще. Он смотрел на стеклянную трубку, пока вода не дошла до черты, и закрыл кран.

— Течёт, — сказал он. — Вот здесь, у нижнего фланца. Видите? Капает. Это прокладка. Её надо менять, а мастера нет. Пока — терпимо. Ставьте под фланец ведро и выливайте раз в день.

— Хорошо, — сказала я.

— Растапливайте, — сказал он и отступил.

Я растопила. Щепа, дрова, — дрова я взяла у Сады, она держала под навесом у дома небольшую поленницу, — заслонка до конца. Огонь занялся сразу, загудел в топке, и котёл будто вздохнул: где-то внутри у него щёлкнуло, булькнуло, и по медным трубам пошёл гул, низкий, долгий, как от большого колокола. Стрелка манометра дрогнула и поползла вверх.

— Живой, — сказала я.

— Живой, — сказал он.

Мы стояли рядом у котла, смотрели на огонь в топке и слушали, как гудят трубы. Огонь освещал ему лицо снизу, и в этом свете рыжая борода казалась совсем рыжей, без седины.

— Теперь — долго, — сказал он. — Чтобы оранжерея прогрелась, нужно часов двенадцать. Земля в кадках холодная, стёкла холодные, всё холодное. Котёл будет гнать тепло, а оно будет уходить в стекло, в землю, в пол. К утру внутри будет плюс пять. К вечеру — плюс десять. Через три дня — пятнадцать. Если стёкла целые. У вас не целые.

— Доски, — сказала я. — Сада сказала, вы забили дыры досками.

— Доски не стекло. Сквозь них тепло тоже уходит. — Он помолчал. — Медленнее.

— А если… — Я помолчала, не зная, можно ли спрашивать. — Вы ведь дракон. Тёплый. Вы можете перенести тепло. Из котла в оранжерею. Быстрее.

Он долго молчал. Я уже решила, что спросила лишнее.

Потом он подошёл к стене, где медные трубы уходили под пол оранжереи, и положил ладонь на самую толстую. Закрыл глаза.

Я ничего не увидела. Ни света, ни искр, ни дыма. Но я услышала: гул в трубах изменился. Стал выше, чище, как если бы колокол ударили сильнее. И через минуту — я не поверила сначала, приложила руку к той же трубе на шаг дальше — медь под моей ладонью стала тёплой. Не горячей — тёплой, как бок у печи утром. А ещё через минуту — горячей.

Он убрал руку. Открыл глаза.

— Вот так, — сказал он. — Я беру у огня и толкаю дальше. По трубам. Быстрее, чем само идёт. — Он помолчал. — Но это — до первой ночи. Потом я уйду, и оно пойдёт само, медленно. Я не буду держать оранжерею каждую ночь, госпожа Лугова. Я сдаю её, а не… — Он не договорил.

— Не служите в ней, — договорила я.

Он посмотрел на меня.

— Не служу, — сказал он.

— Я и не прошу, — сказала я. — Я сама. Спасибо, что показали.

Он кивнул и пошёл к лестнице. На нижней ступени остановился.

— Вы будете ночевать здесь? — спросил он, не оборачиваясь. — Сада говорит, вы перевезли вещи в каморку.

— Буду, — сказала я. — Котёл ночью кто-то должен смотреть. Ведро выливать. И до матери — две версты, каждый день не находишься.

— Это… — Он помолчал. — Одна женщина. На отшибе. Рядом с домом вдовца. Люди скажут.

— Мне сорок два года, господин Вальд, — сказала я. — Я разведённая. Люди уже всё сказали. Им больше нечего.

Он постоял ещё. Потом кивнул — опять медленно, будто кивок давался ему с трудом — и ушёл наверх.

Я выливала ведро из-под фланца в ту ночь трижды. Котёл гудел. Я сидела на табурете у топки, подбрасывала уголь, смотрела на стрелку манометра и думала, что эта ночь — первая, когда я сижу у огня, который топлю сама, в доме, который сняла сама, на деньги, которые… ну, которые мне дала мать. Но всё равно. Сама.

К утру в лимонной галерее было плюс шесть. Я проверила по старому градуснику, который висел на столбе у входа. Плюс шесть — и пар изо рта больше не шёл.

Следующие дни я мыла стёкла.

Это была самая долгая, самая скучная и самая счастливая работа за всю мою жизнь. Стёкол в оранжерее было — я посчитала в первый же день, — триста восемьдесят два. Сорок три разбиты и забиты досками. Остальные — мутные, серые, в разводах соли, в птичьем помёте снаружи и в паутине изнутри. Я мыла их ведром тёплой воды из котла, тряпкой и щёткой, стоя на лестнице, — изнутри, — а снаружи, с крыши, мыла Сада, привязав себя верёвкой к коньку, как матрос к мачте. Я говорила ей, что ей нельзя на крышу в шестьдесят четыре года. Сада сказала, что лазала на эту крышу тридцать лет и будет лазать ещё тридцать, и что, если я буду ей указывать, она перестанет мыть, а я одна не управлюсь до весны. Я перестала указывать.

Каждое вымытое стекло — это было как открыть окно в доме, где давно не открывали. Свет падал внутрь сначала одним квадратом, потом двумя, потом рядом, — и в этом свете всё внутри становилось видно иначе. Не мёртвым — спящим. Пальмы в пальмовом зале оказались не все мёртвыми: у двух в самой серёдке, там, где листья сходятся, было зелёное. Совсем немного. Я срезала все сухие листья — сорок охапок, Сада жгла их за котельной три дня, — и эти две пальмы стояли теперь посреди зала, голые, страшные, с одной зелёной свечкой каждая. Я не знала, выживут ли. Но поливала.

В лимонной галерее я сделала то, что делала всю жизнь в Верхних Садах каждую осень: обошла каждое дерево. Все сорок. Отогнула ногтем кору на ветках у каждого, посмотрела, где зелёное, где коричневое. Мёртвые — тридцать три — вынесла. Сада помогала. Кадки с землёй мы отставили к стене: земля пригодится. Живые семь я пересадила в свежую землю, подрезала, отмыла листья от пыли мыльной водой, поставила к самым светлым стёклам. Рядом поставила свои три горшка — «Сиверного», «Медовую звезду», «Зимний пожар». Мандарин, который начинал цвести в сенях у матери, здесь, в тепле и в свете, за два дня распустил все свои звёзды разом, и в лимонной галерее запахло так, что Сада, войдя утром, остановилась на пороге и долго стояла с закрытыми глазами.

— Она тоже мандарины любила, — сказала Сада. Потом открыла глаза и пошла мыть стёкла.

Я не спросила, кто «она». Я знала.

В пустых кадках, у южной стены, я посеяла косточки. Лимонные — из плодов «Сиверного», которые я забрала с собой, мандариновые — из «Медовой звезды». Сто двадцать косточек, по одной в горшочек из старой глины, которую нашла в сарае. Из ста двадцати, если

повезёт, взойдёт девяносто. Из девяноста выживет к весне шестьдесят. Из шестидесяти, может быть, один окажется интересным. Может быть — ни одного. Я сеяла и записывала в новую тетрадь: число, место, от какого дерева, какая косточка. Как двадцать лет назад, в синей тетради, которой больше нет.

Вальд в оранжерею не заходил.

Но каждый вечер, в восемь, когда в доме зажигали лампу, он спускался в котельную. «Проверить котёл», — говорил он. Проверял: смотрел на стрелку, на уровень воды, на ведро под фланцем. Иногда клал ладонь на трубу, на минуту, на две, — и трубы гудели выше, и я знала, что в лимонной галерее к ночи станет на градус теплее. Он не говорил, что делает. Я не благодарила. Мы оба, кажется, понимали, что это не служба. Это — котёл. Он проверял свой котёл.

Иногда мы говорили. Немного. О котле, об угле, о погоде — у моря всегда есть о чём поговорить про погоду. Потом — больше. На четвёртый вечер он спросил, сколько я посеяла. Я сказала: сто двадцать. Он спросил: зачем, если сеянцы не держат мороз? Я сказала: затем, что из ста двадцати один может оказаться не таким, как все. Он долго молчал и сказал, что Ингрид говорила то же самое. Слово в слово. «Один может оказаться не таким, как все». Потом ушёл наверх, не попрощавшись, и на следующий вечер не пришёл.

На шестой вечер пришёл снова. Положил ладонь на трубу. Постоял. Сказал, не оборачиваясь:

— Простите. Вчера.

— Не за что, — сказала я.

— Есть за что, — сказал он. — Вы не виноваты, что говорите, как она.

Я сидела на табурете у топки и не знала, что сказать. Он стоял у трубы, спиной ко мне, большой, сутулый, с опущенной головой, и я вдруг заметила то, чего не замечала раньше: у него на шее, над воротом куртки, на коже, — тонкий узор. Чешуйки. Медно-бурые, с зелёным отливом, будто под кожей у него проступала другая кожа. Совсем немного, полоской, у самых волос. Я слышала, что у драконов в человечьем облике так бывает, когда они волнуются: проступает чешуя.

— Я не знала её, — сказала я. — Почти. Видела два раза на выставках Общества. Она была… громкая. — Я помолчала. — Она смеялась так, что в соседнем павильоне оборачивались. У неё были медали за камелии.

— Четыре, — сказал он, не оборачиваясь. — Четыре медали. Она их на гвоздь в кухне вешала. Говорила, что так они хоть пользу приносят: на них полотенце сохнет.

Я засмеялась. Не хотела, — само. Он обернулся. Посмотрел на меня. И — мне показалось — у него в бороде что-то дрогнуло. Не улыбка ещё. Что-то, что могло бы стать улыбкой, если бы ему позволили.

— Спокойной ночи, госпожа Лугова, — сказал он.

— Веста, — сказала я. — Меня все так зовут. Кроме бывшего мужа. Он звал «Веся».

— Веста, — повторил он. Помолчал. — Орен.

И ушёл.

Сада рассказала мне про Ингрид на следующий день. Не потому, что я спросила. Мы мыли последние стёкла у камелиевого угла — снаружи, обе, с лестниц, — и я смотрела сквозь стекло на тёмные кусты с бутонами, и Сада сказала, глядя туда же:

— Она их посадила в тот год, как поженились. Двадцать два года назад. Привезла черенки из столицы, в мокром мху, в кармане, на груди — чтобы не замёрзли в дороге. Двадцать черенков. Принялось шестнадцать. Все шестнадцать живые. — Сада помолчала. — Она умерла три года назад, в лютне. Грудная болезнь. Две недели. Он её всё это время грел. Своим. Сидел у кровати и держал за руки. Две недели. Лекарь говорил — не поможет, только себя изведёт. Он не слушал. — Сада вытерла тряпкой стекло. — Она умерла у него на руках. Утром. Он

вышел из дома, пришёл в оранжерею, закрыл стеклянную дверь в её угол и сказал: никто туда не войдёт. И сам не вошёл. А через неделю перестал топить котёл. Всё. Три года.

Я молчала. Мыла стекло. Камелии за стеклом стояли тёмные, живые, с бутонами.

— Они живые, — сказала я. — Без тепла, без полива. Три года.

— Я их поливаю, — сказала Сада. — Через окно. Вот это, сбоку, оно открывается. Раз в неделю, ночью. Он не знает. — Она посмотрела на меня. — Ты ему не скажешь.

— Не скажу.

— Камелии долго ждут, — сказала Сада. — Они такие. Она говорила: камелия может пять лет стоять в углу, не цвести, а потом однажды — раз, и вся в цвету, будто и не было пяти лет. Они упрямые. — Сада слезла с лестницы. — Как она. Как он. Как ты, я гляжу.

Она ушла в дом. Я осталась на лестнице и смотрела на камелии.

На десятый день после того, как я впервые растопила котёл, утром, я пришла в лимонную галерею с ведром — поливать, — и остановилась.

У «Сиверного», моего материнского дерева, на самой верхней ветке, там, куда больше всего падал свет из вымытого стекла, — проклюнулась почка. Маленькая, светло-зелёная, острая, как кончик иглы. Не цветочная — ростовая. Новый побег. Он не должен был пойти до весны. Лимоны не растут в листопаде. Они спят.

А этот пошёл.

Я поставила ведро и долго смотрела на эту почку. Потом пошла к котельной, поднялась в свою каморку, достала новую тетрадь и записала: «19 листопада. Сиверный-мать. Ростовая почка на верхушке. Свет с юга, +14 днём, +9 ночью. После переезда — десятый день». И подумала, что это, наверное, глупо — записывать одну почку. Двадцать лет я записывала только то, что важно для сорта: скрещивания, всходы, морозостойкость, урожай. Не почки.

Потом подумала, что для меня это, кажется, важно.

Вечером Орен пришёл, как всегда, в восемь. Положил ладонь на трубу. Я сидела у топки.

— «Сиверный» пустил побег, — сказала я.

Он обернулся.

— В листопаде?

— В листопаде. На верхушке. Ростовой.

Он помолчал.

— Это свет, — сказал он. — Вы вымыли стёкла.

— Это свет, — согласилась я. — И ваш котёл.

— Котёл ваш, — сказал он. — До цветеня.

— Котёл ваш, — сказала я. — Я его снимаю. Это разное.

Он посмотрел на меня долго. Потом сделал то, чего не делал ни разу за десять дней: прошёл мимо меня к двери из котельной в оранжерею — к той двери, что вела в лимонную галерею, — и остановился на пороге. Не вошёл. Встал в проёме и посмотрел внутрь. На вымытые стёкла, сквозь которые было видно тёмное вечернее небо и звёзды над морем. На семь живых лимонов у южной стены. На мои три горшка. На мандарин в звёздах. На «Сиверный» с почкой, которую в темноте было не разглядеть.

Он стоял долго. Я не шевелилась на своём табурете.

Потом он сказал, не оборачиваясь:

— Пахнет.

— Мандарин, — сказала я.

— Я знаю, что мандарин, — сказал он тихо. — Я забыл, что так пахнет.

Он постоял ещё минуту. Потом отступил с порога, закрыл дверь и ушёл наверх, к себе, не сказав «спокойной ночи».

Я не обиделась. Я знала, что так бывает, когда что-то, что спало три года, вдруг пускает почку. Сначала больно.

Глава 3. Голова в реестр не идёт

Арс приехал в тот день, когда я собиралась прививать.

Я это помню точно, потому что у меня в руке был нож. Прививочный, тонкий, с костяной ручкой, отцовский ещё, — я его забрала из Верхних Садов в кармане, не по описи. Утро было ясное, редкое для листопада: солнце стояло низко над морем и било прямо в вымытые стёкла лимонной галереи, и в галерее было плюс шестнадцать, как в начале цветеня. Я с вечера нарезала черенки с «Сиверного» — восемь, с хорошими почками, из прошлогоднего прироста, — завернула во влажный мох и положила на ночь в прохладное место, под лестницу в котельной. Утром развернула. Почки были живые, плотные, зелёные на срезе. Я подошла к первому из семи живых Вальдовых лимонов — самому крепкому, с толстым стволом, — и примерилась.

План у меня был простой. Семь Вальдовых лимонов — старые, крепкие, корнями держатся, но сорт у них столичный, нежный, мороза не любит, плодоносит плохо. Если привить на них «Сиверный», к весне, к цветеню, у меня будет семь деревьев, которые дадут черенки, — и этими черенками можно торговать. Черенок «Сиверного» в Губе стоил от пяти до десяти медяков. Семь деревьев — это сотни черенков. Это уголь до весны. Это мамины три серебрушки. Это аренда.

Я сделала первый срез на подвое — косой, ровный, как учил отец, — и тут во дворе застучали колёса.

Я узнала телегу по звуку. Нашу телегу — питомниковую, с левым колесом, которое скрипит на каждом обороте, потому что Тихон пятый год обещает его смазать. Скрип, скрип, скрип — и стоп у ворот. Голос Арса — громкий, весёлый, хозяйский:

— Тихон, жди тут! Я недолго!

Я положила нож на край кадки. Вытерла руки о фартук. Вышла.

Он стоял у входа в оранжерею, в своём лучшем кафтане, в новой шапке, и смотрел на стёкла. Вымытые стёкла, сквозь которые солнце било внутрь, на мои лимоны. Потом увидел меня. И остановился.

— Веся, — сказал он. — Ты что с волосами сделала?

— Отрезала, — сказала я.

— Зачем?

— Мешали.

Он смотрел на мою голову, как смотрят на дерево, которое кто-то без спроса обрезал до пенька. Я видела, как он хочет что-то сказать — про косу, про то, как он её любил, про то, что можно было спросить, — и как не говорит, потому что спрашивать меня он больше не имеет права, и он это, кажется, только сейчас понял.

— Ну, — сказал он наконец. — Твоё дело.

— Моё, — согласилась я.

Он перевёл взгляд на оранжерею. На дом с плющом. На трубу котельной, из которой шёл дым.

— У Вальда, значит, — сказал он. — Мать твоя сказала. Я к ней заезжал. Думал, ты там. А ты — у Вальда.

— Я снимаю оранжерею, — сказала я. — Не у Вальда. У Вальда — дом. Я живу в каморке при котельной.

— При котельной, — повторил Арс. — Одна. У вдовца. — Он покачал головой. — Веся, люди же скажут.

— Люди уже сказали, Арс, — сказала я. — Когда ты при поверенном сказал, что я в саду отдыхала. Пряхин, по-моему, до сих пор краснеет. Что ещё они могут сказать?

Он поморщился, как от кислого.

— Я не за этим, — сказал он. — Я по делу.

Он вынул из-за пазухи бумагу. Сложенную вдвое, с печатью Садового общества — зелёной, с виноградной лозой. Я эту печать видела сто раз. На каждой бумаге, которую Арс приносил домой из Общества, — на счетах, на дипломах, на выписках.

— Общество в этом году переписывает реестр, — сказал он. — Каждые десять лет так. Каждый держатель подтверждает свои сорта перед Зимней ярмаркой. Я подал. Все наши — розы, лимоны, мандарин, камелию. «Сиверный», «Медовую звезду», «Зимний пожар», «Милу». Всё, как было. Вот выписка. — Он протянул мне бумагу. — Я тебе, чтоб ты знала.

Я взяла и прочла ровные писарские строчки. «Лимон "Сиверный". Держатель — питомник "Сады Кравца", Арсений Кравец. Записан в реестр двадцать лет назад. Подтверждается». «Мандарин "Медовая звезда". Держатель — питомник "Сады Кравца", Арсений Кравец». «Камелия "Зимний пожар". Держатель — питомник "Сады Кравца", Арсений Кравец». «Лимон "Мила". Держатель…» Всё — на него. Всё, как было.

— Зачем мне это знать? — спросила я.

— Затем, — сказал Арс и посмотрел мимо меня, в оранжерею, туда, где у южной стены стояли мои три горшка, — что мне сказали: ты собираешься торговать черенками. «Сиверного». В городе. Соседка твоей матери, Пелагея, сказала Тихоновой тётке, что ты сказала…

— Я ничего не говорила соседке моей матери, — сказала я.

— Ну, неважно. — Он махнул рукой. — Веся. Сорт записан на питомник. Черенки «Сиверного» продаёт питомник. Только питомник. Если кто-то другой режет и продаёт — это нарушение реестра. Общество за это штрафует, а то и запрещает торговать вовсе. Я тебе по-хорошему говорю. Ты не можешь резать черенки с «Сиверного» и продавать.

— Это мой «Сиверный», — сказала я. — Материнское дерево. Его отдали мне по описи. Три горшка — по выбору госпожи Кравец. Ты сам сказал: бери горшки.

— Горшки — твои, — сказал Арс терпеливо, как говорят с ребёнком. — Деревья — твои. Ставь их, где хочешь, поливай, любуйся. А сорт — питомника. Дерево и сорт — это разное. Ты же сама меня этому учила.

Это было правдой. Я сама его этому учила. Двадцать лет назад, когда он, молодой, весёлый, ничего не смыслящий в садах сын лавочника из Губы, пришёл ко мне в учение и спрашивал, почему нельзя просто взять и продать черенок с соседской груши. «Потому что дерево — его, а сорт — того, кто вывел», — сказала я ему тогда. Он запомнил. Он вообще хорошо запоминал, когда ему было выгодно.

— Сорт — того, кто вывел, — сказала я. — Это правда. Я его вывела, Арс.

Он посмотрел на меня. В первый раз за весь разговор — прямо, в глаза.

— Ты? — сказал он. — Мы. Питомник. Ты сеяла — да. Я ж не спорю. А кто выводил? Кто отбирал, кто проверял, кто записывал, кто возил на выставку, кто подавал в Общество? Кто покупателей искал, когда никто не верил, что лимон на нашем берегу может пять градусов держать? Я. — Он постучал себя пальцем в грудь. — Ты что, хочешь сказать — ты одна?

— Я хочу сказать, что сеяла я. Что из трёхсот сеянцев я выбрала один. Что я его проверяла на морозе три зимы подряд, по ночам, с фонарём, а ты спал. Что я записывала каждую ночь, сколько градусов, сколько листьев, какая ветка подмёрзла. Что всё это было в тетрадях…

— В каких тетрадях? — перебил Арс. — В тех, что сгорели?

Я замолчала.

— Сгорели, Веся, — сказал он мягче. — Пятнадцать лет назад. Ты сама плакала. Помнишь? Я тебе тогда сказал: не плачь, у тебя всё в голове. — Он помолчал. — Голова, Веся, в реестр не идёт. В реестр идут бумаги. А бумаги — вот. — Он кивнул на выписку у меня в руке. — Двадцать лет назад. Моя подпись. Твоей нет. Ты тогда сама сказала: подписывай ты, тебе удобнее, ты в город чаще ездишь.

Я стояла у входа в оранжерею, с выпиской в руке, с землёй на пальцах, и не могла ничего сказать. Потому что он был прав. Я сама так сказала. Двадцать лет назад, на кухне, когда мы пили чай и радовались, что «Сиверный» выдержал третью зиму. «Подписывай ты, тебе удобнее». Мне тогда казалось, что неважно, чья подпись. Мы же — мы.

— Я тебе зла не желаю, — сказал Арс. — Правда. Ты мне жена была двадцать два года. Мила — наша. Я тебе по-хорошему: не режь черенки. Торгуй чем хочешь — цветами, рассадой, лимонами с ветки, хоть пироги пеки. А «Сиверный», «Звезду», «Пожар» — не трогай. Это питомник. Если начнёшь — я напишу в Общество. Не хочу, а напишу. Мне питомник кормить. Мне Тихону платить. Мне Миле на учение давать.

— Миле на учение даю я, — сказала я. — Половину. По уговору. Из того, что ты мне выплачиваешь.

Он хотел возразить и не нашёл, что.

— Ну, — сказал он наконец. — В общем, я сказал.

И тут у меня за спиной кто-то кашлянул.

Я обернулась. В дверях котельной — той, что выходила наружу, к дровяному ларю, — стоял Орен. В своей суконной куртке, с ведром в руке. Ведро было пустое: видно, шёл выливать воду из-под фланца, — а может, и не шёл, может, стоял тут давно. Лицо у него было неподвижное.

Арс посмотрел на него. На его рост, на бороду, на большие руки. Чуть отступил.

— А, — сказал Арс. — Хозяин. Здравствуйте, господин Вальд.

— Здравствуйте, — сказал Орен.

— Я тут… по делу. С бывшей женой.

— Я слышал, — сказал Орен.

Арс помолчал, ожидая, что дракон скажет что-нибудь ещё. Орен ничего не сказал. Стоял в дверях котельной с пустым ведром и смотрел на Арса. Не враждебно, не дружелюбно. Как смотрят на погоду, которая ещё не решила, будет дождь или нет.

— Ну, я поехал, — сказал Арс. Повернулся ко мне. — Веся. Мила на ярмарку приедет. В студне, в первую неделю. Ты будешь? Она хочет тебя видеть.

— Буду, — сказала я.

— Ну, вот и хорошо. — Он помялся. — Ты… береги себя. Тут сыро. От моря.

Он пошёл к телеге. Скрип, скрип, скрип — и телега покатила к городу по береговой дороге. Я стояла и смотрела ей вслед, с выпиской в руке, пока она не скрылась за поворотом у Россова виноградника.

Орен вышел из дверей котельной, прошёл мимо меня к колодцу — с пустым ведром, — набрал воды, вернулся, прошёл обратно мимо меня в котельную. Ничего не сказал.

Я вернулась в лимонную галерею.

Нож лежал на краю кадки, где я его оставила. Первый Вальдов лимон стоял с косым срезом на стволе — свежим, влажным, светлым. Черенки «Сиверного» лежали во мху рядом. Восемь. С хорошими почками.

Я долго стояла над ними.

Потом взяла нож, вытерла и убрала в карман. Взяла черенки, завернула обратно во мох и отнесла под лестницу в котельную. Вальдову лимону замазала срез садовым варом — чтобы не сохнул, чтобы не загнил. Пусть заживает. Он не виноват.

Если я привью «Сиверный» и продам черенки — Арс напишет в Общество. Общество посмотрит в реестр. В реестре — его подпись. Не моя. Меня оштрафуют, а то и запретят торговать вовсе. И тогда у меня не будет ни угля, ни аренды, ни маминых трёх серебрушек. Ничего не будет.

А если не привью — у меня есть три горшка, которые мне не принадлежат. То есть горшки — мои. Деревья — мои. Сорт — не мой.

Я села на пустую кадку у южной стены и стала думать.

Это я умею. Думать — как садовник: не о том, что хочешь, а о том, что растёт. Что у меня растёт? Три материнских дерева. Сто двадцать косточек в горшочках — ещё не взошли. Семь Вальдовых лимонов — сорт столичный, ни на кого не записанный, Ингрид привезла. Две пальмы с зелёной свечкой. Мандарин в цвету — «Медовая звезда», но цветы и плоды — это не черенки; плоды я могу продавать с любого дерева, это не нарушение реестра. «Сиверный» — три зелёных лимона, созреют к цветеню. Камелия «Зимний пожар» — бутоны, раскроются к середине студня, — и цветы, срезанные цветы, тоже не черенки.

Я достала тетрадь и стала писать список. Что моё. Что спорное. Что нельзя.

Моё: сеянцы от косточек — когда взойдут. Вальдовы лимоны, если Вальд разрешит, — плоды, а потом, если выведу из них что-нибудь, — своё. Плоды с моих трёх деревьев — лимоны, мандарины. Цветы — мандарин в цвету, камелия в цвету. Мои руки — прививка, пересадка, уход за чужими садами подённо. Моя голова — то, что Арс сказал, в реестр не идёт.

Спорное: черенки «Сиверного», «Звезды», «Пожара». Не трогать до решения Общества.

Нельзя: ничего больше.

Это был короткий список. Но это был список.

В обед пришла Сада — с котелком щей из дома и двумя ложками. Мы ели на ступеньках котельной, на солнце, как едят работники в поле, и Сада долго молчала, глядя на море, а потом спросила, не глядя на меня:

— Это муж был? Бывший?

— Бывший.

— Громкий, — сказала Сада. — Я его голос из дома слышала. Про «Сиверный» кричал.

— Он не кричал. Он так говорит.

Сада хмыкнула и облизала ложку.

— Кравец, — сказала она. — «Сады Кравца». Я ведь у вас работала. Давно. Лет двадцать назад, а то и больше. Один сезон, подёнщицей, — тут, в Нижней, тогда зимой работы не было, а у вас в Верхних нанимали снег отгребать да печи в теплицах топить. Я тогда ещё не у Вальдов была. Хозяин молодой был, весёлый, всё по городу ездил. А хозяйка — в теплицах. С утра до ночи. С тетрадкой.

Я опустила ложку.

— Вы меня помните?

— Не помню, — честно сказала Сада. — Молодая ты была. Все молодые одинаковые. Помню, что хозяйка была, что с тетрадкой, что всё время над горшками сидела и записывала. И что хозяин в теплицы заходил редко — только когда покупателей водил. — Она помолчала. — Это я тебе к тому, что люди, может, и не помнят, а что-нибудь да видели. Надо только спросить, кто.

— Кого спросить? — сказала я. — Двадцать лет прошло.

— Ну, — сказала Сада, вставая и забирая котелок. — Меня, к примеру. Только я не помню. — Она пошла к дому и уже с крыльца обернулась. — А может, и вспомню. Если что напомнит.

Вечером, в восемь, Орен спустился в котельную. Положил ладонь на трубу. Постоял. Я сидела у топки и не поднимала головы от тетради.

— Он сказал, вы отдыхали, — сказал Орен, не оборачиваясь. — В саду. При поверенном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.